

Обыкновенная история

*Роман
в двух частях*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Однажды летом в деревне Грачах, у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой, все в доме поднялись с рассветом, начиная с хозяйки до цепной собаки Барбоса.

Только единственный сын Анны Павловны, Александр Федорыч, спал, как следует спать двадцатилетнему юноше, богатырским сном; а в доме все суетились и хлопотали. Люди ходили, однако ж, на цыпочках и говорили шепотом, чтоб не разбудить молодого барина. Чуть кто-нибудь стукнет, громко заговорит, сейчас, как раздраженная львица, являлась Анна Павловна и наказывала неосторожного строгим выговором, обидным прозвищем, а иногда, по мере гнева и сил своих, и толчком.

На кухне стряпали в трое рук, как будто на десятерых, хотя всё господское семейство только и состояло, что из Анны Павловны да Александра Федорыча. В сарае вытирали и подмазывали повозку. Все были заняты и работали до поту лица. Барбос только ничего не делал, но и тот по-своему принимал участие в общем движении. Когда мимо его проходил лакей, кучер или шмыгала девка, он махал хвостом и тщательно обнюхивал проходящего, а сам глазами, кажется, спрашивал: «Скажут ли мне наконец, что у нас сегодня за суматоха?»

А суматоха была оттого, что Анна Павловна отпускала сына в Петербург на службу, или, как она говорила, людей посмотреть и себя показать. Убийственный для нее день! От этого она такая грустная

и расстроенная. Часто, в хлопотах, она откроет рот, чтоб приказать что-нибудь, и вдруг остановится на полуслове, голос ей изменит, она отвернется в сторону и оботрет, если успеет, слезу, а не успеет, так уронит ее в чемодан, в который сама укладывала Сашенькино белье. Слезы давно кипят у ней в сердце; они подступили к горлу, давят грудь и готовы брызнуть в три ручья; но она как будто берегла их на прощанье и изредка тратила по капельке.

Не одна она оплакивала разлуку: сильно горевал тоже камердинер Сашеньки, Евсей. Он отправлялся с барином в Петербург, покидал самый теплый угол в доме, за лежанкой, в комнате Аграфены, первого министра в хозяйстве Анны Павловны и — что всего важнее для Евсея — первой ее ключницы.

За лежанкой только и было места, чтоб поставить два стула и стол, на котором готовился чай, кофе, закуска. Евсей прочно занимал место и за печкой, и в сердце Аграфены. На другом стуле заседала она сама.

История об Аграфене и Евсее была уж старая история в доме. О ней, как обо всем на свете, говорили, позлословили их обоих, а потом, так же как и обо всем, замолчали. Сама барыня привыкла видеть их вместе, и они блаженствовали целые десять лет. Многие ли в итоге годов своей жизни начтут десять счастливых? Зато вот настал и миг утраты! Прощай теплый угол, прощай Аграфена Ивановна, прощай игра в дураки, и кофе, и водка, и наливка — всё прощай!

Евсей сидел молча и сильно вздыхал. Аграфена, насупясь, суетилась по хозяйству. У ней горе выразилось по-своему. Она в тот день с ожесточением разлила чай и, вместо того чтоб первую чашку крепкого чая подать, по обыкновению, барыне, выплеснула его вон: никому, дескать, не доставайся, и твердо перенесла выговор. Кофе у ней перекипел, сливки подгорели, чашки валялись из рук. Она не поставит

подноса на стол, а брякнет; не отворит шкапа и двери, а хлопнет. Но она не плакала, а сердилась на всё и на всех. Впрочем, это вообще было главною чертою в ее характере. Она никогда не была довольна; всё не по ней; всегда ворчала, жаловалась. Но в эту роковую для нее минуту характер ее обнаруживался во всем своем пафосе. Пуще всего, кажется, она сердилась на Евсея.

— Аграфена Ивановна!.. — сказал он жалобно и нежно, что не совсем шло к его длинной и плотной фигуре.

— Ну что ты, разиня, тут расселся? — отвечала она, как будто он в первый раз тут сидел. — Пусти прочь: надо полотенце достать.

— Эх, Аграфена Ивановна!.. — повторил он лениво, вздыхая и поднимаясь со стула и тотчас опять опускаясь, когда она взяла полотенце.

— Только хнычет! Вот пострел навязался! Что это за наказание, Господи! и не отвяжется!

И она со звоном уронила ложку в полоскательную чашку.

— Аграфена! — раздалось вдруг из другой комнаты, — ты никак с ума сошла! разве не знаешь, что Сашенька почивает? Подралась, что ли, с своим возлюбленным на прощанье?

— Не пошевелись для тебя, сиди как мертвая! — прошипела по-змеиному Аграфена, вытирая чашку обеими руками, как будто хотела изломать ее в куски.

— Прощайте, прощайте! — с громаднейшим вздохом сказал Евсей, — последний денек, Аграфена Ивановна!

— И слава Богу! пусть унесут вас черти отсюда: просторнее будет. Да пусти прочь, негде ступить: протянул ноги-то!

Он тронул было ее за плечо — как она ему ответила! Он опять вздохнул, но с места не двигался; да напрасно и двинулся бы: Аграфене этого не хотелось. Евсей знал это и не смущался.

— Кто-то сядет на мое место? — промолвил он, всё со вздохом.

— Леший! — отрывисто отвечала она.

— Дай-то Бог! лишь бы не Прощка. А кто-то в дураки с вами станет играть?

— Ну хоть бы и Прощка, так что ж за беда? — со злостью заметила она.

Евсей встал.

— Вы не играйте с Прощкой, ей-богу, не играйте! — сказал он с беспокойством и почти с угрозой.

— А кто мне запретит? ты, что ли, образина этакая?

— Матушка Аграфена Ивановна! — начал он умоляющим голосом, обняв ее — за талию, сказал бы я, если б у ней был хоть малейший намек на талию.

Она отвечала на объятие локтем в грудь.

— Матушка Аграфена Ивановна! — повторил он, — будет ли Прощка любить вас так, как я? Поглядите, какой он озорник: ни одной женщине проходу не даст. А я-то! э-эх! Вы у меня, что синь-порох в глазу! Если б не барская воля, так... эх!..

Он при этом крикнул и махнул рукой. Аграфена не выдержала: и у ней наконец горе обнаружилось в слезах.

— Да отстанешь ли ты от меня, окаянный? — говорила она плача, — что мелешь, дуралей! Свяжусь я с Прощкой! разве не видишь сам, что от него путного слова не добьешься? только и знает, что лезет с ручищами...

— И к вам лез? Ах, мерзавец! А вы небось не скажете! Я бы его...

— Полезь-ка, так узнает! Разве нет в дворне женского пола, кроме меня? С Прощкой свяжусь! вишь, что выдумал! Подле него и сидеть-то тошно — свинья свиной. Он, того и гляди, норовит ударить человека или сожрать что-нибудь барское из-под рук — и не увидишь.

— Уж если, Аграфена Ивановна, случай такой придет — лукавый ведь силен, — так лучше Гришку

посадите тут: по крайности малый смиренный, работающий, не зубоскал...

— Вот еще выдумал! — накинулась на него Аграфена, — что ты меня всякому навязываешь, разве я какая-нибудь... Пошел вон отсюда! Много вашего брата, всякому стану вешаться на шею: не таковская! С тобой только, этаким лешим, попутал, видно, лукавый за грехи мои связаться, да и то каюсь... а то выдумал!

— Бог вас награди за вашу добродетель! как камень с плеч! — воскликнул Евсей.

— Обрадовался! — зверски закричала она опять, — есть чему радоваться — радуйся!

И губы у ней побелели от злости. Оба замолчали.

— Аграфена Ивановна! — робко сказал Евсей немного погодя.

— Ну, что еще?

— Я ведь и забыл: у меня нынче с утра во рту маковой росинки не было.

— Только и дела!

— С горя, матушка.

Она достала с нижней полки шкапа, из-за головы сахару, стакан водки и два огромных ломтя хлеба с ветчиной. Всё это давно было приготовлено для него ее заботливой рукой. Она сунула ему их, как не суют и собакам. Один ломоть упал на пол.

— На вот, подавись! О, чтоб тебя... да тише, не чавкай на весь дом.

Она отвернулась от него с выражением будто ненависти, а он медленно начал есть, глядя исподлобья на Аграфену и прикрывая одною рукою рот.

Между тем в воротах показался ямщик с тройкой лошадей. Через шею коренной переброшена была дуга. Колокольчик, привязанный к седелке, глухо и несвободно ворочал языком, как пьяный, связанный и брошенный в караульню. Ямщик привязал лошадей под навесом сарая, снял шапку, достал оттуда грязное полотенце и отер пот с лица. Анна Павловна,

увидев его из окна, побледнела. У ней подкосились ноги и опустились руки, хотя она ожидала этого. Оправившись, она позвала Аграфену.

— Поди-ка на цыпочках, тихохонько, посмотри, спит ли Сашенька, — сказала она. — Он, мой голубчик, проспит, пожалуй, и последний денек: так и не наляжусь на него. Да нет, куда тебе! ты, того гляди, влезешь как корова! я лучше сама...

И пошла.

— Поди-ка ты, не корова! — ворчала Аграфена, воротясь к себе. — Вишь, корову нашла! много ли у тебя этаких коров-то?

Навстречу Анне Павловне шел и сам Александр Федорыч, белокурый молодой человек в цвете лет, здоровья и сил. Он весело поздоровался с матерью, но, увидев вдруг чемодан и узлы, смутился, молча отошел к окну и стал чертить пальцем по стеклу. Через минуту он уже опять говорил с матерью и беспечно, даже с радостью смотрел на дорожные сборы.

— Что это ты, мой дружок, как заспался, — сказала Анна Павловна, — даже личико отекло? Дай-ка вытру тебе глаза и щеки розовой водой.

— Нет, маменька, не надо.

— Чего ты хочешь позавтракать: чайку прежде или кофейку? Я велела сделать и битое мясо со сметаной на сковороде — чего хочешь?

— Всё равно, маменька.

Анна Павловна продолжала укладывать белье, потом остановилась и посмотрела на сына с тоской.

— Саша!.. — сказала она через несколько времени.

— Чего изволите, маменька?

Она медлила говорить, как будто чего-то боялась.

— Куда ты едешь, мой друг, зачем? — спросила она наконец тихим голосом.

— Как куда, маменька? в Петербург, затем... затем... чтоб...

— Послушай, Саша, — сказала она в волнении, положив ему руку на плечо, по-видимому с намерением сделать последнюю попытку, — еще время не ушло: подумай, останься!

— Остаться! как можно! да ведь и... белье уложено, — сказал он, не зная, что выдумать.

— Уложено белье! да вот... вот... вот... гляди — и не уложено.

Она в три приема вынула всё из чемодана.

— Как же это так, маменька? собрался — и вдруг опять! Что скажут...

Он опечалился.

— Я не столько для себя самой, сколько для тебя же отговариваю. Зачем ты едешь? Искать счастья? Да разве тебе здесь нехорошо? разве мать день-деньской не думает о том, как бы угодить всем твоим прихотям? Конечно, ты в таких летах, что одни материнские угождения не составляют счастья; да я и не требую этого. Ну, погляди вокруг себя: все смотрят тебе в глаза. А дочка Марьи Карповны, Сонюшка? Что... покраснел? Как она, моя голубушка, — дай Бог ей здоровья — любит тебя: слышь, третью ночь не спит!

— Вот, маменька, что вы! она так...

— Да, да, будто я не вижу... Ах! чтоб не забыть: она взяла обрубить твои платки — «я, говорит, сама, сама, никому не дам, и метку сделаю», видишь, чего же еще тебе? Останься!

Он слушал молча, поникнув головой, и играл кистью своего шлафрока.

— Что ты найдешь в Петербурге? — продолжала она. — Ты думаешь, там тебе такое же житье будет, как здесь? Э, мой друг! Бог знает, чего насмотришься и натерпишься: и холод, и голод, и нужду — всё перенесешь. Злых людей везде много, а добрых не скоро найдешь. А почет — что в деревне, что в столице — всё тот же почет. Как не увидишь петербургского житья, так и покажется тебе, живучи здесь, что

ты первый в мире; и во всем так, мой милый! Ты же воспитан, и ловок, и хорош. Мне бы, старухе, только оставалось радоваться, глядя на тебя. Женился бы, послал бы Бог тебе деточек, а я бы нянчила их — и жил бы без горя, без забот, и прожил бы век свой мирно, тихо, никому бы не позавидовал; а там, может, и не будет хорошо, может, и помянешь слова мои... Останься, Сашенька, — а?

Он кашлянул и вздохнул, но не сказал ни слова.

— А посмотри-ка сюда, — продолжала она, отворяя дверь на балкон, — и тебе не жаль покинуть такой уголок?

С балкона в комнату пахнуло свежестью. От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озеро, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое как зеркало; с другой — темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу.

Анна Павловна, прикрыв одной рукой глаза от солнца, другой указывала сыну попеременно на каждый предмет.

— Погляди-ка, — говорила она, — какой красотой Бог одел поля наши! Вон с тех полей одной ржи до пятисот четвертей сберем; а вон и пшеничка есть, и гречиха; только гречиха нынче не то, что прошлый год: кажется, плоха будет. А лес-то, лес-то как разросся! Подумаешь, как велика премудрость Божия! Дровец с своего участка мало-мало на тысячу продадим. А дичи, дичи что! и ведь всё это твое, милый сынок: я только твоя приказчица. Погляди-ка, озеро: что за великолепиие! истинно небесное! рыба так и ходит; одну осетрину покупаем, а то ерши, окуни, караси кишмя кишат: и на себя и на людей идет. Вон

твои коровки и лошадки пасутся. Здесь ты один все-му господин, а там, может быть, всякий станет помыкать тобой. И ты хочешь бежать от такой благодати, еще не знаешь куда, в омут, может быть, прости Господи... Останься!

Он молчал.

— Да ты не слушаешь, — сказала она. — Куда это ты так пристально загляделся?

Он молча и задумчиво указал рукой вдаль. Анна Павловна взглянула и изменилась в лице. Там, между полей, змеей вилась дорога и убегала за лес, дорога в обетованную землю, в Петербург. Анна Павловна молчала несколько минут, чтоб собраться с силами.

— Так вот что! — проговорила она наконец уныло. — Ну, мой друг, Бог с тобой! поезжай, уж если тебя так тянет отсюда: я не удерживаю! По крайней мере не скажешь, что мать заедает твою молодость и жизнь.

Бедная мать! вот тебе и награда за твою любовь! Того ли ожидала ты? В том-то и дело, что матери не ожидают наград. Мать любит без толку и без разбору. Велики вы, славны, красивы, горды, переходит имя ваше из уст в уста, гремят ваши дела по свету — голова старушки трясется от радости, она плачет, смеется и молится долго и жарко. А сынок большею частью и не думает поделиться славой с родительницей. Нищи ли вы духом и умом, отметила ли вас природа клеймом безобразия, точит ли жало недуга ваше сердце или тело, наконец, отталкивают вас от себя люди и нет вам места между ними — тем более места в сердце матери. Она сильнее прижимает к груди уродливое, неудавшееся чадо и молится еще долее и жарче.

Как назвать Александра бесчувственным за то, что он решился на разлуку? Ему было двадцать лет. Жизнь от пелен ему улыбалась; мать лелеяла и баловала его, как балуют единственное чадо; нянька

всё пела ему над колыбелью, что он будет ходить в золоте и не знать горя; профессеры твердили, что он пойдет далеко, а по возвращении его домой ему улыбнулась дочь соседки. И старый кот Васька был к нему, кажется, ласковее, нежели к кому-нибудь в доме.

О горе, слезах, бедствиях он знал только по слуху, как знают о какой-нибудь заразе, которая не обнаружилась, но глухо где-то таится в народе. От этого будущее представлялось ему в радужном свете. Его что-то манило вдаль, но что именно — он не знал. Там мелькали обольстительные призраки, но он не мог разглядеть их; слышались смешанные звуки — то голос славы, то любви: всё это приводило его в сладкий трепет.

Ему скоро тесен стал домашний мир. Природу, ласки матери, благоговение няньки и всей дворни, мягкую постель, вкусные яства и мурлыканье Васьки — все эти блага, которые так дорого ценятся на склоне жизни, он весело менял на неизвестное, полное увлекательной и таинственной прелести. Даже любовь Софьи, первая, нежная и розовая любовь, не удерживала его. Что ему эта любовь? Он мечтал о колоссальной страсти, которая не знает никаких преград и свершает громкие подвиги. Он любил Софью пока маленькой любовью, в ожидании большой. Мечтал он и о пользе, которую принесет отечеству. Он прилежно и многому учился. В аттестате его сказано было, что он знает с дюжину наук да с полдюжины древних и новых языков. Всего же более он мечтал о славе писателя. Стихи его удивляли товарищей. Перед ним расстилалось множество путей, и один казался лучше другого. Он не знал, на который броситься. Скрывался от глаз только прямой путь; заметь он его, так тогда, может быть, и не поехал бы.

Как же ему было остаться? Мать желала — это опять другое и очень естественное дело. В сердце ее отжили все чувства, кроме одного — любви к сыну,

и оно жарко ухватилось за этот последний предмет. Не будь его, что же ей делать? Хоть умирать. Уж давно доказано, что женское сердце не живет без любви.

Александр был избалован, но не испорчен домашнею жизнью. Природа так хорошо создала его, что любовь матери и поклонение окружающих подействовали только на добрые его стороны, развили, например, в нем преждевременно сердечные склонности, поселили ко всему доверчивость до излишества. Это же самое, может быть, расшевелило в нем и самолюбие; но ведь самолюбие само по себе только форма; всё будет зависеть от материала, который вошьешь в нее.

Гораздо более беды для него было в том, что мать его, при всей своей нежности, не могла дать ему настоящего взгляда на жизнь и не приготовила его на борьбу с тем, что ожидало его и ожидает всякого впереди. Но для этого нужно было искусную руку, тонкий ум и запас большой опытности, не ограниченной тесным деревенским горизонтом. Нужно было даже поменьше любить его, не думать за него ежеминутно, не отводить от него каждую заботу и неприятность, не плакать и не страдать вместо его и в детстве, чтоб дать ему самому почувствовать приближение грозы, справиться с своими силами и подумать о своей судьбе — словом, узнать, что он мужчина. Где же было Анне Павловне понять всё это и особенно выполнить? Читатель видел, какова она. Не угодно ли посмотреть еще?

Она уже забыла сыновний эгоизм. Александр Федорыч застал ее за вторичным укладываньем белья и платья. В хлопотах и дорожных сборах она как будто совсем не помнила горя.

— Вот, Сашенька, заметь хорошенько, куда я что кладу, — говорила она. — В самый низ, на дно чемодана, простыни: дюжина. Посмотри-ка, так ли записано?

— Так, маменька.

— Все с твоими метками, видишь — «А. А.». А всё голубушка Сонюшка! Без нее наши дурищи нескоро бы поворотились. Теперь что? да, наволочки. Раз, две, три, четыре — так, вся дюжина тут. Вот рубашки — три дюжины. Что за полотно — загляденье! это голландское; сама ездила на фабрику к Василью Васильичу; он выбрал что ни есть наилучшие три куска. Поверяй же, милый, по реестру всякий раз, как будешь принимать от прачки; все новешенькие. Там немного таких рубашек увидишь; пожалуй, и подменят; есть ведь этакие мерзавки, что Бога не боятся. Носков двадцать две пары... Знаешь, что я придумала? положить в один носок твой бумажник с деньгами. Их тебе до Петербурга не понадобится, так, сохрани Боже! случай какой, чтоб и рыли, да не нашли. И письма к дяде туда же положу: то-то, чай, обрадуется! ведь семнадцать лет и словом не перекинулись, шутка ли! Вот косыночки, вот платки; еще полдюжины у Сонюшки осталось. Не теряй, душенька, платков: славный полубатист! У Михеева брала по два с четвертью. Ну, белье всё. Теперь платье... Да где Евсей? что он не смотрит? Евсей!

Евсей лениво вошел в комнату.

— Чего изволите? — спросил он еще ленивее.

— Чего изволите? — заговорила Адуева гневно. — Что не смотришь, как я укладываю? А там, как надо что достать в дороге, и пойдешь всё перерывать вверх дном! Не может отвязаться от своей возлюбленной — экое сокровище! День-то велик: успеешь! Ты этак там и за барином станешь ходить? Смотри у меня! Вот гляди: это хороший фрак — видишь, куда кладу? А ты, Сашенька, береги его, не всякий день таскай; сукно-то по шестнадцать рублей брали. Куда в хорошие люди пойдешь, и надень, да не садись зря, как ни попало, вон как твоя тетка, словно нарочно, не сядет на пустой стул или диван, а так и норовит плюхнуться туда, где стоит шляпа или что-нибудь та-

кое; намедни на тарелку с вареньем села — такого сраму наделала! Куда попроще в люди, вот этот фрак масака надевай. Теперь жилеты — раз, два, три, четыре. Двое брюк. Э! да платья-то года на три станет. Ух! устала! шутка ли: целое утро возилась! Поди, Евсей. Поговорим, Сашенька, о чем-нибудь другом. Ужо гости приедут, не до того будет.

Она села на диван и посадила его подле себя.

— Ну, Саша, — сказала она, помолчав немного, — ты теперь едешь на чужую сторону...

— Какая «чужая» сторона, Петербург: что вы, маменька!

— Погоди, погоди — выслушай, что я хочу сказать! Бог один знает, что там тебя встретит, чего ты нагладишься, и хорошего, и худого. Надеюсь, Он, Отец мой небесный, подкрепит тебя; а ты, мой друг, пуще всего не забывай Его, помни, что без веры нет спасения нигде и ни в чем. Достигнешь там больших чинов, в знать войдешь — ведь мы не хуже других: отец был дворянин, майор, — все-таки смиряйся перед Господом Богом: молись и в счастья и в несчастья, а не по пословице: гром не грянет, мужик не перекрестится. Иной, пока везет ему, и в церковь не заглянет, а как придет невмочь — и пойдет рублевые свечи ставить да нищих оделять: это большой грех. К слову пришлось о нищих. Не трать на них денег по-пустому, помногу не давай. На что баловать? их не удивишь. Они пропьют да над тобой же насмеются. У тебя, я знаю, мягкая душа: ты, пожалуй, и по гривеннику станешь отваливать. Нет, это не нужно; Бог подаст! Будешь ли ты посещать храм Божий? будешь ли ходить по воскресеньям к обедне?

Она вздохнула.

Александр молчал. Он вспомнил, что, учась в университете и живучи в губернском городе, он не очень усердно посещал церковь; а в деревне, только из угождения матери, сопровождал ее к обедне. Ему

совестно было солгать. Он молчал. Мать поняла его молчание и опять вздохнула.

— Ну, я тебя не неволю, — продолжала она, — ты человек молодой: где тебе быть так усердну к церкви Божией, как нам, старикам? Еще, пожалуй, служба помешает или засидишься поздно в хороших людях и проспешь. Бог пожалеет твоей молодости. Не тужи: у тебя есть мать. Она не проспит. Пока во мне останется хоть капелька крови, пока не высохли слезы в глазах и Бог терпит грехам моим, я ползком дотащусь, если не хватит сил дойти, до церковного порога; последний вздох отдам, последнюю слезу выплачу за тебя, моего друга. Вымолю тебе и здоровья, и чинов, и крестов, и небесных и земных благ. Неужели-то Он, милосердный Отец, презрит молитвой бедной старухи? Мне самой ничего не надо. Отними Он у меня всё: здоровье, жизнь, пошли слепоту — тебе лишь подай всякую радость, всякое счастье и добро...

Она не договорила, слезы закапали у ней из глаз. Александр вскочил с места.

— Маменька... — сказал он.

— Ну сядь, сядь! — отвечала она, наскоро утирая слезы, — мне еще много осталось поговорить... Что, бишь, я хотела сказать? из ума вон... Вишь, нынче какая память у меня... да! блюда посты, мой друг: это великое дело! В среду и пятницу — Бог простит; а в Великий пост — Боже оборони! Вот Михайло Михайлыч и умным человеком считается, а что в нем? Что мясоед, что Страстная неделя — всё одно жрет. Даже волос дыбом становится! Он вон и бедным помогает, да будто его милостыня принята Господом? Слышь, подал раз старику красненькую, тот взял ее, а сам отвернулся да плюнул. Все кланяются ему и в глаза-то бог знает что наговорят, а за глаза крестятся, как поминают его, словно шайтана какого.

Александр слушал с некоторым нетерпением и взглядывал по временам в окно, на дальнюю дорогу.

Она замолчала на минуту.

— Береги пуще всего здоровье, — продолжала она. — Как заболеешь — чего Боже оборони! — опасно, напиши... я соберу все силы и приеду. Кому там ходить за тобой? Норовят еще обобрать больного. Не ходи ночью по улицам; от людей зверского вида удаляйся. Береги деньги... ох, береги на черный день! Трать с толком. От них, проклятых, всякое добро и всякое зло. Не мотай, не заводи лишних прихотей. Ты будешь аккуратно получать от меня две тысячи пятьсот рублей в год. Две тысячи пятьсот рублей не шутка! Не заводи роскоши никакой, ничего такого, но и не отказывай себе в чем можно; захочется полакомиться — не скупись. Не предавайся вину — ох, оно первый враг человека! Да еще (тут она понизила голос) берегись женщин! Знаю я их! Есть такие бесстыдницы, что сами на шею будут вешаться, как увидят этакое-то...

Она с любовью посмотрела на сына.

— Довольно, маменька; я бы позавтракал? — сказал он почти с досадой.

— Сейчас, сейчас... еще одно слово...

— На мужних жен не зарься, — спешила она до сказать, — это великий грех! «Не пожелай жены ближнего твоего», — сказано в Писании. Если же там какая-нибудь станет до свадьбы добираться — Боже сохрани! не моги и подумать! Они готовы подцепить, как увидят, что с денежками да хорошенький. Разве что у начальника твоего или у какого-нибудь знатного да богатого вельможи разгорятся на тебя зубы и он захочет выдать за тебя дочь — ну, тогда можно, только отпиши: я кое-как дотащусь, посмотрю, чтоб не подсунули так какую-нибудь, лишь бы с рук сбыть: старую девку или дрянь. Этакое женишка всякому лестно залучить. Ну а коли ты сам полюбишь да выдастся хорошая девушка — так того... — тут она еще тише заговорила... — Сонюшку-то можно и в сторону. (Старушка, из любви к сыну, готова бы-

ла покривить душой.) Что в самом деле Марья Карповна замечтала! ты дочке ее не пара. Деревенская девушка! на тебя и не такие польстятся.

— Софью! нет, маменька, я ее никогда не забуду! — сказал Александр.

— Ну, ну, друг мой, успокойся! ведь я так только. Послужи, воротись сюда, и тогда что Бог даст; невес ты не уйдут! Коли не забудешь, так и того... Ну а...

Она что-то хотела сказать, но не решалась, потом наклонилась к уху его и тихо спросила:

— А будешь ли помнить... мать?

— Вот до чего договорились, — перервал он, — велите скорей подавать что там у вас есть: яичница, что ли? Забыть вас! Как могли вы подумать? Бог накажет меня...

— Перестань, перестань, Саша, — заговорила она торопливо, — что ты это накликаешь на свою голову! Нет, нет! что бы ни было, если случится этакой грех, пусть я одна страдаю. Ты молод, только что начинаешь жить, будут у тебя и друзья, женишься — молодая жена заменит тебе и мать, и всё... Нет! Пусть благословит тебя Бог, как я тебя благословляю.

Она поцеловала его в лоб и тем заключила свои наставления.

— Да что это не едет никто? — сказала она, — ни Марья Карповна, ни Антон Иваныч, ни священник нейдет? уж, чай, обедня кончилась! Ах, вон кто-то и едет! кажется, Антон Иваныч... так и есть: легок на помине.

Кто не знает Антона Иваныча? Это Вечный жид. Он существовал всегда и всюду, с самых древнейших времен, и не переводился никогда. Он присутствовал и на греческих и на римских пирах, ел, конечно, и упитанного тельца, закланного счастливым отцом по случаю возвращения блудного сына.

У нас, на Руси, он бывает разнообразен. Тот, про которого говорится, был таков: у него душ двадцать заложенных и перезаложенных; живет он почти в из-

бе или в каком-то странном здании, похожем с виду на амбар, — ход где-то сзади, через бревна, подле самого плетня; но он лет двадцать постоянно твердит, что с будущей весной приступит к стройке нового дома. Хозяйства он дома не держит. Нет человека из его знакомых, который бы у него отобедал, отужинал или выпил чашку чаю, но нет также человека, у которого бы он сам не делал этого по пятидесяти раз в год. Прежде Антон Иваныч ходил в широких шароварах и казакине, теперь ходит в будни в сюртуке и в панталонах, в праздники во фраке бог знает какого покроя. С виду он полный, потому что у него нет ни горя, ни забот, ни волнений, хотя он прикидывается, что весь век живет чужими горестями и заботами; но ведь известно, что чужие горести и заботы не сушат нас: это так заведено у людей.

В сущности Антона Иваныча никому не нужно, но без него не совершается ни один обряд: ни свадьба, ни похороны. Он на всех званных обедах и вечерах, на всех домашних советах; без него никто ни шагу. Подумают, может быть, что он очень полезен, что там исполнит какое-нибудь важное поручение, тут даст хороший совет, обработает дельце, — вовсе нет! Ему никто ничего подобного не поручает; он ничего не умеет, ничего не знает: ни в судах хлопотать, ни быть посредником, ни примирителем — ровно ничего.

Но зато ему поручают, например, завезти мимоездом поклон от такой-то к такому-то, и он непременно завезет и тут же кстати позавтракает, — уведомить такого-то, что известная-де бумага получена, а какая именно, этого ему не говорят, — передать туда-то кадочку с медом или горсточку семян, с наказом не разлить и не рассыпать, — напомнить, когда кто именинник. Еще Антона Иваныча употребляют в таких делах, которые считают неудобным поручить человеку. «Нельзя Петрушку послать, — говорят, — того и гляди, переврет. Нет, уж пусть лучше Антон Иваныч съездит!» Или: «Неловко послать человека:

такой-то или такая-то обидится, а вот лучше Антона Иваныча отправить».

Как бы удивило всех, если б его вдруг не было где-нибудь на обеде или вечере!

— А где же Антон Иваныч? — спросил бы всякий непременно с изумлением. — Что с ним? да почему его нет?

И обед не в обед. Тогда уж к нему даже кого-нибудь и отправят депутатом проведать, что с ним, не заболел ли, не уехал ли? И если он болен, то и родного не порадуют таким участием.

Антон Иваныч подошел к руке Анны Павловны.

— Здравствуйте, матушка Анна Павловна! с обновкой честь имею вас поздравить.

— С какой это, Антон Иваныч? — спросила Анна Павловна, осматривая себя с ног до головы.

— А мостик-то у ворот! видно, только что сколотили? что, слышу, не пляшут доски под колесами? смотрю, ан новый!

Он, при встречах с знакомыми, всегда обыкновенно поздравляет их с чем-нибудь: или с постом, или с весной, или с осенью; если после оттепели мороз наступит, так с морозом, наступит после морозу оттепель — с оттепелью.

На этот раз ничего подобного не было, но он что-нибудь да выдумает.

— Вам кланяются Александра Васильевна, Матрена Михайловна, Петр Сергеич, — сказал он.

— Покорно благодарю, Антон Иваныч! Детки здоровы ли у них?

— Слава Богу. Я к вам веду благословение Божие: за мной следом идет батюшка. А слышали ли, сударыня: наш-то Семен Архипыч?..

— Что такое? — с испугом спросила Анна Павловна.

— Ведь приказал долго жить!

— Что вы! когда?

— Вчера утром. Мне к вечеру же дали знать: прискакал парнишко; я и отправился, да всю ночь не

спал. Все в слезах: и утешать-то надо, и распорядиться; там у всех руки опустились: слезы да слезы, — я один.

— Господи, Господи Боже мой! — говорила Анна Павловна, качая головой, — жизнь-то наша! Да как же это могло случиться? он еще на той неделе с вами же поклон прислал!

— Да, матушка! ну да он давненько прихварывал, старик старый: диво, как до сих пор еще не свалился!

— Что за старый! он годом только постарше моего покойника. Ну, царство ему небесное! — сказала, крестясь, Анна Павловна. — Жаль бедной Федосьи Петровны: осталась с деточками на руках. Шутка ли: пятеро, и всё почти девочки! А когда похороны?

— Завтра.

— Видно, у всякого свое горе, Антон Иваныч; вот я так сына провожаю.

— Что делать, Анна Павловна, все мы человеки! «терпи», — сказано в Священном Писании.

— Уж не погневайтесь, что потревожила вас — вместе размыкать горе; вы нас так любите, как родной.

— Эх, матушка Анна Павловна! да кого же мне и любить-то, как не вас? Много ли у нас таких, как вы? Вы цены себе не знаете. Хлопот полон рот: тут и своя стройка вертится на уме. Вчера еще бился целое утро с подрядчиком, да всё как-то не сходимся... а как, думаю, не поехать?.. что она там, думаю, одна-то, без меня станет делать? человек не молодой: чай, голову растеряет.

— Дай Бог вам здоровья, Антон Иваныч, что не забываете нас! И подлинно сама не своя: такая пустота в голове, ничего не вижу! в горле совсем от слез перегорело. Прошу закусить: вы и устали, и, чай, проголодались.

— Покорно благодарю-с. Признаться, мимоездом пропустил маленькую у Петра Сергеича да перехватил кусочек. Ну да это не помешает. Батюшка подойдет, пусть благословит! Да вот он и на крыльце!

Пришел священник. Приехала и Марья Карповна с дочерью, полной и румяной девушкой с улыбкой и заплаканными глазами. Глаза и всё выражение лица Софьи явно говорили: «Я буду любить просто, без затей, буду ходить за мужем, как нянька, слушаться его во всем и никогда не казаться умнее его; да и как можно быть умнее мужа? это грех! Стану прилежно заниматься хозяйством, шить; рожу ему полдюжины детей, буду их сама кормить, нянчить, одевать и обшивать». Полнота и свежесть щек ее и пышность груди подтверждали обещание насчет детей. Но слезы на глазах и грустная улыбка придавали ей в эту минуту не такой прозаический интерес.

Прежде всего отслужили молебен, причем Антон Иваныч созвал дворню, зажег свечу и принял от священника книгу, когда тот перестал читать, и передал ее дьячку, и потом отлил в скляночку святой воды, спрятал в карман и сказал: «Это Агафье Никитишне». Сели за стол. Кроме Антона Иваныча и священника, никто, по обыкновению, не дотронулся ни до чего, но зато Антон Иваныч сделал полную честь этому гомерическому завтраку. Анна Павловна всё плакала и украдкой утирала слезы.

— Полно вам, матушка Анна Павловна, слезы-то тратить! — сказал Антон Иваныч с притворной досадой, наполнив рюмку наливкой. — Что вы его, на убой, что ли, отправляете? — Потом, выпив до половины рюмку, почавкал губами.

— Что за наливка! какой аромат пошел! Этакой, матушка, у нас и по губернии-то не найдешь! — сказал он с выражением большого удовольствия.

— Это тре... те... годнич... ная! — проговорила, всхлипывая, Анна Павловна, — нынче для вас... только... откупорила.

— Эх, Анна Павловна, и смотреть-то на вас тошно, — начал опять Антон Иваныч, — вот некому бить-то вас; бил бы да бил!

— Сами посудите, Антон Иваныч, один сын, и тот с глаз долой: умру — некому и похоронить.

— А мы-то на что? что я вам, чужой, что ли? Да куда еще торопитесь умирать? того гляди, замуж бы не вышли! вот бы поплясал на свадьбе! Да полноте плакать-то!

— Не могу, Антон Иваныч, право, не могу; не знаю сама, откуда слезы берутся.

— Этакого молодца взаперти держать! Дайте-ка ему волю, он расправит крылышки да вот каких чудес наделает: нахватает там чинов!

— Вашими бы устами да мед пить! Да что вы мало взяли пирожка? возьмите еще!

— Возьму-с: вот только этот кусок съем. За ваше здоровье, Александр Федорыч! счастливого пути! да возвращайтесь скорее; да женитесь-ка! Что вы, Софья Васильевна, вспыхнули?

— Я ничего... я так...

— Ох, молодежь, молодежь! хе-хе-хе!

— С вами горя не чувствуешь, Антон Иваныч, — сказала Анна Павловна, — так умеете утешить; дай Бог вам здоровья! Да выкушайте еще наливочки.

— Выпью, матушка, выпью, как не выпить на прощанье!

Кончился завтрак. Ямщик уже давно заложил повозку. Ее подвезли к крыльцу. Люди выбегали один за другим. Тот нес чемодан, другой — узел, третий — мешок и опять уходил за чем-нибудь. Как мухи сладкую каплю, люди облепили повозку, и всякий совался туда с руками.

— Вот так лучше положить чемодан, — говорил один, — а тут бы коробок с провизией.

— А куда же они ноги денут? — отвечал другой, — лучше чемодан вдоль, а коробок можно сбоку поставить.

— Так тогда перина будет скатываться, коли чемодан вдоль: лучше поперек. Что еще? уклали ли сапоги-то?

— Я не знаю. Кто укладывал?

— Я не укладывал. Поди-ка погляди — нет ли там наверху?

— Да поди ты.

— А ты что? мне, видишь, некогда!

— Вот еще, вот это не забудьте! — кричала девка, просовывая мимо голов руку с узелком.

— Давай сюда!

— Суньте и это как-нибудь в чемодан; давеча забыли, — говорила другая, привставая на подножку и подавая щеточку и гребенку.

— Куда теперь совать? — сердито закричал на нее дородный лакей, — пошла ты прочь! видишь, чемодан под самым низом!

— Барыня велела; мне что за дело, хоть брось! вишь, черти какие!

— Ну давай, что ли, сюда скорее; это можно вот тут сбоку в карман положить.

Коренная беспрестанно поднимала и трясла голову. Колокольчик издавал всякий раз при этом резкий звук, напоминавший о разлуке, а пристяжные стояли задумчиво, опустив головы, как будто понимая всю прелесть предстоящего им путешествия, и изредка обмахивались хвостами или протягивали нижнюю губу к коренной лошади. Наконец настала роковая минута. Помолились еще.

— Сядьте, сядьте все! — повелевал Антон Иванович, — извольте сесть, Александр Федорыч! и ты, Евсей, сядь. Сядь же, сядь! — И сам боком, на секунду, едва присел на стул. — Ну, теперь с Богом!

Вот тут-то Анна Павловна заревела и повисла на шею Александру.

— Прощай, прощай, мой друг! — слышалось среди рыданий, — увижу ли я тебя?..

Дальше ничего нельзя было разобрать. В эту минуту послышался звук другого колокольчика: на двор влетела телега, запряженная тройкой. С телеги соскочил, весь в пыли, какой-то молодой человек, вбежал в комнату и бросился на шею Александру.

— Поспелов!.. — Адуев!.. — воскликнули они враз, тиская друг друга в объятиях.

— Откуда ты, как?

— Из дому, нарочно скакал целые сутки, чтоб проститься с тобой.

— Друг! друг! истинный друг! — говорил Адуев со слезами на глазах. — За сто шестьдесят верст при- скакать, чтоб сказать прости! О, есть дружба в мире! Навек, не правда ли? — говорил пылко Александр, стискивая руку друга и насакивая на него.

— До гробовой доски! — отвечал тот, тиская руку еще сильнее и насакивая на Александра.

— Пиши ко мне!

— Да, да, и ты пиши!

Анна Павловна не знала, как и обласкать Поспелова. Отъезд замедлился на полчаса. Наконец собрались.

Все пошли до рощи пешком. Софья и Александр в то время, когда переходили темные сени, бросились друг к другу.

— Саша! Милый Саша!.. — Соничка!.. — шептали они, и слова замерли в поцелуе.

— Вы забудете меня там? — сказала она слезливо.

— О, как вы меня мало знаете! я ворочусь, поверьте, и никогда другая...

— Вот возьмите скорей: это мои волосы и колечко.

Он проворно спрятал и то и другое в карман.

Впереди пошли Анна Павловна с сыном и с Поспеловым, потом Марья Карповна с дочерью, наконец, священник с Антоном Иванычем. В некотором отдалении ехала повозка. Ямщик едва сдерживал лошадей. Дворня окружила в воротах Евсея.

— Прощай, Евсей Иваныч, прощай, голубчик, не забывай нас! — слышалось со всех сторон.

— Прощайте, братцы, прощайте, не поминайте лихом!

— Прощай, Евсеюшка, прощай, мой ненаглядный! — говорила мать, обнимая его, — вот тебе образок; это мое благословение. Помни веру, Евсей, не уйди там у меня в бусурманы! а не то прокляну! Не пьянствуй, не воруй; служи барину верой и правдой. Прощай, прощай!..

Она закрыла лицо фартуком и отошла.

— Прощай, матушка! — лениво проворчал Евсей. К нему бросилась девчонка лет двенадцати.

— Простись с сестренкой-то! — сказала одна баба.

— И ты туда же! — говорил Евсей, целуя ее, — ну, прощай, прощай! пошла теперь, босоногая, в избу!

Отдельно от всех, последняя стояла Аграфена. Лицо у нее позеленело.

— Прощайте, Аграфена Ивановна! — сказал протяжно, возвысив голос, Евсей и протянул к ней руки.

Она дала себя обнять, но не отвечала на объятие; только лицо ее искривилось.

— На вот тебе! — сказала она, вынув из-под передника и сунув ему мешок с чем-то. — То-то, чай, там с петербургскими-то загуляешь! — прибавила она, поглядев на него искоса. И в этом взгляде выразилась вся тоска ее и вся ревность.

— Я загуляю, я? — начал Евсей. — Да разрази меня на этом месте Господь, лопни мои глаза! чтоб мне сквозь землю провалиться, коли я там что-нибудь этакое...

— Ладно! ладно! — недоверчиво бормотала Аграфена, — а сам-то — у!

— Ах, чуть не забыл! — сказал Евсей и достал из кармана засаленную колоду карт. — Натe, Аграфена Ивановна, вам на память; ведь вам здесь негде взять.

Она протянула руку.

— Подари мне, Евсей Иваныч! — закричал из толпы Прошка.

— Тебе! да лучше сожгу, чем тебе подарю! — И он спрятал карты в карман.

— Да мне-то отдай, дурачина! — сказала Аграфена.

— Нет, Аграфена Ивановна, что хотите делайте, а не отдам: вы с ним станете играть. Прощайте!

Он, не оглянувшись, махнул рукой и лениво пошел вслед за повозкой, которую бы, кажется, вместе с Александром, ямщиком и лошадьми мог унести на своих плечах.

— Проклятый! — говорила Аграфена, глядя ему вслед и утирая концом платка капавшие слезы.

У рожи остановились. Пока Анна Павловна рыдала и прощалась с сыном, Антон Иваныч потрепал одну лошадь по шее, потом взял ее за ноздри и потряс в обе стороны, чем та, казалось, вовсе была недовольна, потому что оскалила зубы и тотчас же фыркнула.

— Подтяни подпругу у коренной-то, — сказал он ямщику, — вишь, седелка-то на боку!

Ямщик посмотрел на седелку и, увидев, что она на своем месте, не тронулся с козел, а только кнутом поправил немного шлею.

— Ну, пора, Бог с вами! — говорил Антон Иваныч, — полно, Анна Павловна, вам мучить-то себя! А вы садитесь, Александр Федорыч; вам надо засветло добраться до Шишкова. Прощайте, прощайте, дай Бог вам счастья, чинов, крестов, всего доброго и хорошего, всякого добра и имущества!!! Ну, с Богом, трогай лошадей, да смотри там косогором-то легче поезжай! — прибавил он, обращаясь к ямщику.

Александр сел, весь расплаканный, в повозку, а Евсей подошел к барыне, поклонился ей в ноги и поцеловал у ней руку. Она дала ему пятирублевую ассигнацию.

— Смотри же, Евсей, помни: будешь хорошо служить, женю на Аграфене, а не то...

Она не могла говорить дальше. Евсей взобрался на козлы. Ямщик, наскучивший долгим ожиданием, как будто ожил; он прижал шапку, поправился на

месте и поднял вожжи; лошади тронулись сначала легкой рысью. Он хлестнул пристяжных разом одну за другой, они скакнули, вытянулись, и тройка ринулась по дороге в лес. Толпа провожавших осталась в облаке пыли безмолвна и неподвижна, пока повозка не скрылась совсем из глаз. Антон Иванович опомнился первый.

— Ну, теперь по домам! — сказал он.

Александр смотрел, пока можно было, из повозки назад, потом упал на подушки лицом вниз.

— Не оставьте вы меня, горемычную, Антон Иванович! — сказала Анна Павловна, — отобедайте здесь!

— Хорошо, матушка, я готов: пожалуй, и отужинаю.

— Да вы бы уж и ночевали.

— Как же: завтра похороны!

— Ах да! Ну, я вас не неволю. Кланяйтесь Федосье Петровне от меня, скажите, что я душевно огорчена ее печалью и сама бы навестила, да вот Бог, дескать, и мне послал горе — сына проводила.

— Скажу-с, скажу, не забуду.

— Голубчик ты мой, Сашенька! — шептала она, оглядываясь, — и нет уж его, скрылся из глаз!

Адуева просидела целый день молча, не обедала и не ужинала. Зато говорил, обедал и ужинал Антон Иванович.

— Где-то он теперь, мой голубчик? — скажет только она иногда.

— Уж теперь должен быть в Неплюеве. Нет, что я вру? еще не в Неплюеве, а подъезжает; там чай будет пить, — отвечает Антон Иванович.

— Нет, он в это время никогда не пьет.

И так Анна Павловна мысленно ехала с ним. Потом, когда он, по расчетам ее, должен был уже приехать в Петербург, она то молилась, то гадала в карты, то разговаривала о нем с Марьей Карповной.

А он?

С ним мы встретимся в Петербурге.

Петр Иванович Адуев, дядя нашего героя, так же как и этот, двадцати лет был отправлен в Петербург старшим своим братом, отцом Александра, и жил там безвыездно семнадцать лет. Он не переписывался с родными после смерти брата, и Анна Павловна ничего не знала о нем с тех пор, как он продал свое небольшое имение, бывшее недалеко от ее деревни.

В Петербурге он слыл за человека с деньгами, и, может быть, не без причины; служил при каком-то важном лице чиновником особых поручений и носил несколько ленточек в петлице фрака; жил на большой улице, занимал хорошую квартиру, держал троих людей и столько же лошадей. Он был не стар, а что называется «мужчина в самой поре» — между тридцатью пятью и сорока годами. Впрочем, он не любил распространяться о своих годах, не по мелкому самолюбию, а вследствие какого-то обдуманного расчета, как будто он намеревался застраховать свою жизнь подороже. По крайней мере в его манере скрывать настоящие лета не видно было суетной претензии нравиться прекрасному полу.

Он был высокий, пропорционально сложенный мужчина с крупными, правильными чертами смугломатового лица, с ровной, красивой походкой, с сдержанными, но приятными манерами. Таких мужчин обыкновенно называют *bel homme*¹.

В лице замечалась — также сдержанность, то есть умение владеть собою, не давать лицу быть зеркалом души. Он был того мнения, что это неудобно — и для себя и для других. Таков он был в свете. Нельзя, однако ж, было назвать лица его деревянным: нет, оно было только покойно. Иногда лишь видны были на нем следы усталости, — должно быть, от усиленных занятий. Он слыл за деятельного и делового че-

¹ Представительный человек (*фр.*).

СОДЕРЖАНИЕ

Блудный сын наедине с судьбой <i>М. В. Отрадин</i>	5
ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ	23
Часть первая	25
Часть вторая	193
Эпилог	366
Комментарии. <i>А. Г. Гродецкая</i>	387

Литературно-художественное издание

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ
ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Алексея Соколова
Корректоры Галина Тимошенко, Алеватина Борисенкова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

12+

Подписано в печать 01.06.2017.
Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂. Печать офсетная.
Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 16,9. Заказ №

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93
www.oaompk.ru, www.oaompk.ru
Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685



YAKB867603R

Издательская Группа «Азбука-Аттикус»

В состав Издательской Группы «Азбука-Аттикус» входят
известнейшие российские издательства: «Азбука»,
«Махаон», «Иностранка», «КоЛибри».

Наши книги — это русская и зарубежная классика,
современная отечественная и переводная
художественная литература, детективы, фэнтези,
фантастика, non-fiction, художественные
и развивающие книги

для детей, иллюстрированные энциклопедии
по всем отраслям знаний,
историко-биографические издания.

Узнать подробнее о наших сериях
и новинках вы можете на сайте

Издательской Группы «Азбука-Аттикус»

<http://www.atticus-group.ru/>

Здесь же вы можете прочесть отрывки
из новых книг, узнать о различных мероприятиях
и акциях, а также заказать наши книги через
интернет-магазины.

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01,
факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru;
info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО
«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55,
факс: (812) 327-01-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01.
E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах
на сайтах: www.azbooka.ru,
www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей
и творческого сотрудничества размещена по адресу:
www.azbooka.ru/new_authors